

В ТЕНИ КОРШУНА

Рассказ

Стоит мне летом приехать на дачу и выйти на крыльцо или пройтись с собаками вдоль разномастных заборов, как тянет задрать голову и взглянуться в небо; оно почти всегда чистое, высокое и голубое; а по нему нарезают свои круги коршуны, чьи гнездовья где-то неподалеку, в лесопосадках за железной дорогой. Старшие птицы учат своих детенышей ловить воздушные потоки, ставят птенцов на крыло, о чем в свою очередь гласит стихотворение, несколько лет назад напечатанное аж в «Новом журнале».

Нынешним летом было не до дачных красот, жизнь как-то не заладилась, после того как таинственным образом пропала крупная сумма денег, но об этом позже. Плохие времена, словно незамысловатая влага, проникают в любые щели. Внезапно умер давний мой знакомец, почти приятель.

Даниил Кротиков возник в моей жизни лет тридцать тому назад. Кажется, знакомство произошло в литинститутском дворе, познакомил нас Слава Злотников, который учился в МГУ, но обожал женские переводческие кадры из Средней Азии. Однажды он прожил у меня две недели с татаркой из Душанбе, которая была выше его на целую голову. Своей тогдашней жене он объяснил временное отсутствие на семейном ложе срочной командировкой в Воркуту.

Ежевечерне, прежде чем разойтись по комнатам, мы втроем славно ворковали за бутылкой коньяка и индийским «со слоном» чаем с «цэдээльскими» пирожными, чем, видимо, Слава оправдывал поднаем комнаты, впрочем, он еще выгуливал по утрам мою тогдашнюю собаку Джона, керри-блю-терьера; а вечером жизнерадостно докладывал о новых успешных знакомствах, заведенных с помощью кобеля-медалиста.

Татарка, ревнуя, скрипела золотыми зубами, но, как настоящая женщина Востока, словесно не выражалась. Когда же Слава, наконец, съехал, обнаружилось, что он и его подружка наговорили по межгороду более чем на три сотни рублей, и еще полгода я выколачивал из него погашение телефонного долга.

Пил я тогда довольно умеренно, а Даниил, напротив, постоянно пребывал в запое. Попав в столицу из солнечного Биробиджана, он, словно чукча, был совершенно неустойчив к алкоголю, что не мешало, а может, даже и помогало плести рифмованные кружева.

Поэт он был, что называется, от Бога, человек легкий, но после учебы в Москве не задержался. В очередные каникулы он сочетался браком, как оказалось, первым, с преподавательницей музыкальной школы в городе Братске, где я и навестил его во время какого-то литературного круиза по Сибири.

Даня трогательно растил сына-первенца, периодически «зашивался» и стремительно проделывал краткосрочную карьеру, рушащуюся с очередным запоем. Через некоторое время он переехал в Иркутск, стал главным редактором «комсомольского» дайджеста и успел напечатать одну из моих ранних повестушек. В перестроечные времена он прогремел в качестве чрезвычайно темпераментного публициста, оперативно откликавшегося на все зигзаги растерявшегося от внезапной свободы общества. Стихи писать он не бросил, они были все так же добры и отзывчивы, только с каждым новым сборником отчетливее пульсировала в них «хасидская» боль по утраченной бабушке, прожившей в Биробиджане чуть ли не сотню лет.

Неожиданно Даня стал депутатом областной думы, заматерел; очередная вшитая «торпеда» выключила его из круга моих постоянных клубных собутыльников, но, встречаясь примерно раз в год в подвальчике ЦДЛ, мы и под «минералку» охотно обменивались литературными новостями и читали друг другу новые «эпохалки».

Два года назад Даниил, сложив депутатские полномочия, переехал в столицу, купил «двушку» на окраине, в Люблино, и стал полноправным москвичом. Только работу не мог долго найти и, наконец, устроился корреспондентом районной газетки. Служба была ему не в тягость, нужно было только набегивать «информашки», зато можно было самому планировать день и особенно вечер; только платили мало, типа три сотни у. е. Одному на эти деньги худо-бедно можно проконтиться, но содержать семью было сложно.

Кротиков был женат уже вторым браком, обожал свою блондинку Тамару и дочку Дашу, радовался музыкальным успехам последней. Даша пошла, странным образом, чуть ли не в его первую жену и уже виртуозно играла на скрипке, но дальнейшая учеба помимо трудолюбия и таланта требовала все больше и больше денег. Даниил пытался находить дополнительные источники, переводил по подстрочникам казахов и киргизов, но все это было ненадежно; он внедрил в ряды поэтов-песенников, но выбивание гонорара за положенные на музыку строчки оказалось ему явно не по силам.

Общение с «лабухами» не прошло даром, Даня «развязал» и месяц назад, когда я обмывал очередную свою редактуру с подшефным поэтом-адвокатом, он подошел к нашему столику с двухсотграммовым фужером,

наполненным водкой. Он осведомился, можно ли посадить еще и даму, которая должна подойти с минуты на минуту. Согласие, естественно, было дано, минута ожидания затянулась как минимум на полчаса, и за это время Кротиковым было выпито явно больше, чем нужно, тем более что у нас на столе присутствовало «море разливанное».

Дама оказалась мексиканской поэтессой, также закончившей Литинститут, давным-давно осевшей в Москве и вышедшей замуж за русского прозаика, последний, кстати, сильно разозлил меня странной антологией короткого рассказа, где жутко исказил один мой любимый цикл. Пила она скупно, сосредоточившись на «отвертке», водке пополам с апельсиновым соком, зато щедро откликалась на наши удачные репризы.

Даня был, что называется, «в ударе», он много и охотно читал свои ранние стихи и наиболее любимое из классики; я пытался отвечать тем же. Вечер пролетел незаметно, и мы расстались, договорившись, что я принесу ему в редакцию районки свои мини-рассказики из жизни столичной богемы, а также афоризмы некоего Гордина, ставшего моим героем и соавтором уже с добрый десяток лет назад.

С посещением редакции что-то не задалось, отвлекли другие, более срочные дела, тем не менее, чуть ли не каждый вечер мы созванивались и вели часовые душеспасительные разговоры. Я постоянно пенял Дане, что он напрасно оставил свой Иркутск, где вскоре вышел бы и его двухтомник, и дали бы очередную премию, да и меня мог бы принять на Байкале с его-то депутатскими полномочиями. Лучше бы в Государственную Думу баллотировался, жил бы тогда превосходно на два города. Но Даня чаще всего отмалчивался, а однажды признался, что его чуть не «замочили» за то, что не пролоббировал интересы тамошней водочной мафии.

— Здесь я худо-бедно жив, а там уж точно бы давно закопали, — высказал он в сердцах.

Естественно, крыть это утверждение было нечем. Вообще жизнь отдельного человека полным-полна неподвластного логическому разбору абсурда.

Один зарубежный писатель, сосредоточенный в своей тематике именно на этом разборе и даже получивший «нобелевку», заметил, что в абсурде нет ничего непонятного, кроме противоречий в том, что касается проблемы убийства. При попытке выделить из чувства абсурда методику действий обычно выясняется, что именно из-за этого чувства убийство воспринимается в лучшем случае с безразличием и, следовательно, становится возможным. Когда ни во что не веришь, не видишь смысла ни в чем и не можешь объявить ценность чего-либо, тогда дозволено все, и ничто не имеет значения. При отсутствии доводов «за» и «против» убийцу нельзя ни осудить, ни оправдать. В общем, достоевщина полная, даже в высокоинтеллектуальной Франции.

Безразлично, оказывается, сжигать ли людей в газовой печи или посвятить жизнь уходу за прокаженными. Добродетель и злодеяние, таким образом, отдаются на откуп случаю и капризу. Случаю и капризу отдаются и человеческие взаимоотношения, и вся наша жизнь до последнего шпунтика.

Наконец все мои делишки были переделаны, «флешка» чуть ли не закипала от сброшенных на нее файлов, и я в очередной вторник уже без звонка поперся в редакцию Кротикова. Несмотря на все его пояснения, редакцию я не нашел, заплутал в люблинских магистралях, где каждая новостройка размерами напоминала министерство иностранных дел или «белый дом». Мобильный телефон приятеля почему-то не отвечал, равно как и служебный. Вернулся я восвояси, как говорится, несолоно хлебавши.

Вечером позвонил Даниилу домой, но дочка, с которой я был знаком только понаслышке, ничего внятного не ответила. На следующий день открылась очередная, девятнадцатая, книжная выставка, на которую я и отправился в надежде завести новые контакты с издателями и освежить прежние связи. Несколько неизданных рукописей «жгли» процессор.

Хождение особых успехов не принесло. По старому следу моего рецензентства получил в подарок несколько полунужных книг, купил очередные тома словарей 11-го и 18-го веков, мысленно посокрушавшись, что до завершения этих изданий уж точно не доживу, выпил пару рюмок с директором издательства, второй год не выпускавшего обещанный еще к юбилею стихотворный сборник юношеских творений, и совершенно вымотанный добрался домой, чтобы провалиться в забытье. Очередная подружка моя была в отъезде, навещала родителей; только кошка да такса согревали мой ночлег, периодически сражаясь за мое внимание.

Утром легко дозвонился в редакцию, попал на редактора, представился и сказал, что собираюсь в их края. Мимоходом осведомился: на месте ли Даня, как ему бегаются?..

— А Даня умер, — озабоченно произнес редактор. — Сейчас срочно готовим в номер порученные ему информашки. А похороны завтра, вы позвоните после обеда, точнее скажу, где и во сколько.

Ни сил, ни слов для продолжения разговора у меня не нашлось. Охватила какая-то апатия, само собой пришло решение отказаться от действия вообще, что, продолжая ту же безразмерную цитату, означает практически соглашение с убийством, совершенным кем-то другим, и тебе остается лишь сокрушаться по поводу несовершенства человеческой природы. Абсурд, да и только.

И если принять эту установку, то все мы ежеминутно должны быть готовы к убийству ближнего, подчиняясь законам логики, а не совести, которая очевидно является только иллюзией. Итогом этого рассуждения должен быть, по мнению цитируемого мыслителя, отказ от суицида и добровольное участие в противостоянии вопрошающего человека и молчащей вселенной. Противостояние это может воплотиться даже в телефонном разговоре.

При последующем звонке выяснилось, что отпевание (а Даня, оказывается, успел новообратиться) пройдет в храме Космы и Дамиана, а похороны — в Переделкино и поминки тоже там, в столовой местного Дома творчества.

Утром к 11-ти успел в храм, соседствующий с рестораном «Арагви», где в молодости протекло немало приятных часов. На асфальтовом «пятачке» сгрудилось несколько десятков литераторов в основном моего возраста, но встречались и молодые люди. Даня любил и умел опекать начинающих поэтов, к нему они тянулись за советом и помощью, хотя чисто официально от него мало что зависело.

Даня лежал в гробу с бледным отечным лицом, мешки под глазами не сумели убрать даже мастера макияжа. Выяснилось, что он вместе с женой побывал во вторник на вечере нашего общего приятеля. На традиционный послевечерний фуршет он не остался, плохо себя почувствовал и заспешил домой. На улице положил под язык валидол, защемило сердце, до того уже было два инфаркта. Боль не уходила. Жена вызвала «Скорую помощь», которая добиралась 40 минут. Приехала фельдшерка, без всяких лекарств. Даню только успели положить на носилки, как он и умер. Видимо, случился третий инфаркт. Тамара от вскрытия отказалась, не захотела уродовать тело мужа, ему этим уже не поможешь.

Внутри храма с поникшими головами стояли и прохаживались тоже человек двадцать-тридцать. Редактор газеты встречал вновь пришедших и сочувственно пожимал руку. Редакция взяла на себя все расходы по похоронам и поминкам, а Даше, дочери покойного, пообещала стипендиальную поддержку.

Отпевание затянулось на полтора часа. В соседнем приделе проводилось венчание. Молодая празднично одетая пара в окружении родственников дожидалась отправления обряда.

Я вышел снова на улицу. Поэты моего и следующего поколения всё подходили и подходили. Кто-то нервно курил, кто-то перебрасывался новостями; большинство пришедших давно не пересекалось: на тусовочные премиальные фуршеты не очень-то пробьешься, в клубный ресторан выбираться литераторам тоже не по карману, на поэтические вечера продолжает ходить в основном околосредовая публика.

Поэт Паша Красильников появился с двумя крупными розами, поцеловал руку жене Рейне, который почему-то отсутствовал, и взволнованно поведал мне о своих многомесячных проблемах, в довершение попросив взглянуть в его глаза. Его недавно прооперировали по поводу катаракта (рука не поднимается написать: старческих — он же мой ровесник), вставили искусственные хрусталики. Один зрачок был по-кошачьи удлинён, наверное, ущемили радужку, чтобы улучшить отток внутриглазной жидкости, видимо, катаракта осложнилась еще и глаукомой.

Отпевание прошло чинно и благопристойно. Прозаик Битов в силу возраста устал стоять около гроба и большую часть обряда просидел на массивной скамье, продолжая держать свечу, вставленную в бумажный листок. Малоизвестный литератор Мелин рыкнул на меня, когда перед самым началом я обменялся приветствием с поэтом Дудочкиным. Этот Мелин был с очередной, чуть ли не восьмой, супругой, по виду сущей школьницей. Стоит заметить, что он вовсе не исключение, многие писатели регулярно меняют своих спутниц, чтобы подстегивать тускнеющее воображение.

После прощания с Даней, когда я не решился ни поцеловать усопшего в лоб, ни погладить край гроба и даже не перекрестился, одиноко прошел к автобусу, сел на сиденье возле окна и еще раз взглянул на выходящих коллег. Все они как-то сиротливо и испуганно жались друг к другу, словно цыплята, почувствовавшие тень парящего на изготовке коршуна. Кто следующий? — брезжил невысказанный вопрос.

Именно в этом году нам пришлось провожать в последний путь не своих учителей, мэтров и подмастерьев, а — ровесников... Некоторые были моложе меня на несколько лет.

До Переделкино добрались где-то за час, пробок почти не было. Почему-то мне подумалось о том, что и я вполне мог бы оказаться на месте Дани. Впрочем, нет, не мог. Если бы я воплотил бесконечные мысли о суициде, то меня нельзя было бы отпевать, да и вопрос о кладбище был бы спорным. Самоубийц ведь хоронят с внешней стороны погоста.

О самостоятельном уходе из жизни я стал задумываться лет в 12-13, когда меня сильно обижали родители и жизнь не ладилась. Думал, вот наглотаясь каких-нибудь таблеток и умру, пусть всем будет плохо. Сидел на ступеньках крыльца и плакал, воображая испуг соседей и домашних. Потом мысли о суициде периодически возникали почти ежегодно, останавливало нежелание приносить неприятности семье, дочери, внукам, и вообще показывать запретную дорожку в иной мир не было резона.

Суицид — позорное бегство от мира, отказ от него, признание собственной неспособности к выживанию. К тому же, жизнь — единственное подлинное благо, позволяющее твари дрожащей на равных разговаривать и с вселенной, и с Богом. И если даже ничего нет, кроме голого выживания в холоде и мраке космоса, если любая цель по большому счету абсурдна, то только живая личность, обладающая сознанием, во плоти, так сказать, может позволить себе настоящее утверждение.

Отказ от суицида, по сути, является отказом от любого мотивированного или немотивированного убийства, своеобразной прививкой от убийства. Повторю рассуждения предшественника о том, что убийство и суицид — две стороны одной медали, то есть несчастного сознания, которое выбирает мрачный экстаз, где сливаются в